

СТАНИСЛАВ ВТОРУШИН

В ЕГО СТИХАХ ЗВУЧАЛА МУЗЫКА

*Алтайское лето Николая Рубцова*

1966 год для всей литературной Сибири был особенным. В середине мая в Кемерово прошло Всесоюзное совещание молодых писателей. Его руководителем был председатель Союза писателей России Леонид Сергеевич Соболев – элегантный человек с аристократической внешностью, безукоризненными манерами и высочайшим авторитетом в писательской среде. Вместе с ним на совещание прилетели Ярослав Смеляков, Василий Федоров, Сергей Антонов, Михаил Львов и многие другие не менее известные писатели. Одно перечисление этих имен в то время вызывало трепет в душе. А когда на заключительном заседании в областном театре драмы Ярослав Смеляков вышел на сцену и глуховатым голосом начал читать своё знаменитое стихотворение “Если я заболел, к врачам обращаться не стану...”, у многих в зале по телу побежали мурашки. Это стихотворение уже давно жило отдельно от самого Смелякова, его переложили на музыку, оно было своеобразным гимном поколения, и никто никогда не спрашивал об имени его автора.

Мне посчастливилось быть участником того совещания, в Барнаул я вернулся с него, перегруженный впечатлениями. Рукопись стихов, которую я привез в Кемерово для обсуждения, изрядно поругали, но рекомендовали к изданию.

Не помню точную дату, но вскоре после совещания я случайно встретил на центральной улице Барнаула своего приятеля, стихами которого в то время зачитывался весь Алтай, – Леонида Мерзликина. Он шёл с каким-то худым парнем, на котором, словно на вешалке, болтался длинный коричневый пиджак и серый шарф, несколько раз обмотанный вокруг тонкой шеи. С Мерзликиным мы не виделись несколько недель, он кинулся ко мне, чтобы обняться, потом, кивнув на своего приятеля, сказал:

– Знакомься: Коля Рубцов.

Широкой публике стихи Рубцова были тогда мало известны, но в поэтических кругах о нём ходили легенды. Его строчки: “Стукну по карману – не звенит. / Стукну по другому – не слышать. / В коммунизм, в безоблачный зенит / Полетели мысли отдыхать” – передавались из уст в уста. Впервые мы услышали их от Мерзликина. Читал он и его знаменитое заявление ректору, когда Рубцова пытались исключить из Литинститута: “Быть может, я для вас в гробу мерцаю, / Но должен заявить, в конце концов: / Я, Николай Михайлович Рубцов, / Возможность трезвой жизни отрицаю”. Рубцов казался нам легендой, бросившей дерзкий вызов всему, что мешало жить и развиваться русской поэзии. Представившись и пожав руку, я внимательно смотрел на него.

Он был среднего роста, болезненно худым, с узким лицом и глубоко спрятанными карими глазами. Высокий лоб и редкие каштановые, почти под цвет пиджака, волосы, зачёсанные набок. Оказалось, что он уже несколько дней жил в Барнауле, куда ему посоветовал приехать другой барнаульский поэт – Василий Нечунаев, с которым они вместе учились в Литературном институте, правда, на разных курсах. Рубцов обрадовался возможности побывать на Алтае, потому что он мог повидаться здесь с Мерзликиным, которого считал своим другом. Они вместе поступали в Литинститут, но Мерзликин уже закончил его, а Николай всё мыкался в студентах, переходя с очного обучения на заочное. Ночевал Рубцов у старшей сестры Нечунаева Матрёны Марковны, жившей с двумя детьми, но имевшей крохотную свободную комнатку.

Мы оказались недалеко от мастерской художника Николая Иванова, писавшего великолепные сюжетные полотна о жизни Горного Алтая. К нему в любое время мог прийти кто угодно, а уж поэты – тем более. Над городом висели лохматые серые тучи, обещавшие вот-вот разразиться дождём, и мы, недолго думая, отправились к живописцу. По дороге, конечно же, купили водки.

Николай Иванов был крупным человеком с большими руками тракториста или лесоруба и громогласным басом. Увидев водку, он воскликнул шалапинским голосом:

– О! А у меня есть редиска и непревзойдённые соленые огурчики.

Тут же организовал стол, разлил водку и после того, как мы выпили по первой стопке, пробасил, уставившись на Рубцова:

– Ну, читай! Своих-то я слышал уже не раз.

Рубцов сидел с краю стола, тихий, ушедший в себя, и, казалось, не замечал того, что было вокруг. Он вообще походил на человека *не от мира сего*. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами, и могу сказать, что за всю свою жизнь я не встречал ни одного человека, на лице которого была бы запечатлена такая отрешённость. По всей видимости, его одолевали тяжкие думы, но он никогда не рассказывал о них другим. Как я узнал намного позже, ему не с кем было поделиться ни радостью, ни горем, он всё носил в себе, а это гораздо тяжелее. Рубцов долго молчал, опустил голову, затем поднял руку, неторопливо размотал шарф, оставив его на плечах, чуть качнулся и начал негромко читать, словно продолжая свои потаённые раздумья:

*Тихая моя родина!  
Ивы, река, соловьи...  
Мать моя здесь похоронена  
В светлые годы свои.*

.....  
*С каждой избою и тучею,  
С громом, готовым упасть,  
Чувствую самую жгучую,  
Самую смертную связь.*

Мне показалось, что Иванов перестал дышать. Некоторое время он, застыв, смотрел на Рубцова, словно пытался запечатлеть его портрет, чтобы потом перенести на полотно, потом, моргнув, спросил:

– А ещё что-нибудь можешь прочитать?

Стихотворение потрясло его. Я много раз потом встречал это стихотворение в различных сборниках, и всегда последняя строка первого четверостишья выглядела по-другому. Вместо: “В светлые годы свои” там стояло “В детские годы мои”. Но могу спорить на что угодно, что в тот день я услышал это стихотворение так, как привёл его здесь. А Иванов всё смотрел на Рубцова, словно не веря, что сидящий перед ним худой парень в большом не по размеру пиджаке и сером, уже довольно поношенном шарфе смог написать такие стихи. Но Рубцов, снова качнувшись и уронив на колени сцепленные в ладонях руки, продолжал:

*Звезда полей во мгле заледенелой,  
Остановившись, смотрит в поляню.  
Уж на часах двенадцать прозвенело,  
И сон окутал родину мою.*

*Звезда полей! В минуты потрясений  
Я вспоминал, как тихо за холмом  
Она горит над золотом осенним,  
Она горит над зимним серебром.  
Звезда полей горит, не угасая,  
Для всех тревожных жителей земли,  
Своим лучом приветливым касаясь  
Всех городов, поднявшихся вдали.  
Но только здесь, во мгле заледенелой,  
Она восходит ярче и полней.  
И счастлив я, пока на свете белом  
Горит, горит звезда моих полей.*

Иванов молча налил водки в рюмки и, чокнувшись с Рубцовым, сказал:  
– За тебя!

Коля растаял. Он словно сбросил давившую его тяжесть и заговорил о том, что в журнале “Юность” скоро должна появиться большая подборка его стихов, и он, уезжая на Алтай, просил, чтобы гонорар за неё ему перевели сюда. Он сообщил об этом таким тоном, словно должен был получить целое состояние. Я только потом понял, что даже гонорар за подборку стихов для него действительно был целым состоянием.

– А ещё, – просветлев лицом, сказал Коля, – в следующем году в “Советском писателе” обещают издать мою книжку. Я её так и назвал: “Звезда полей”. Хотите, прочитаю из неё? – неуверенно спросил Рубцов и обвёл нас детским, беззащитным взглядом.

– А для чего мы здесь сидим? – пробасил Иванов. – Читай, конечно.

Сейчас уже не помню всех стихов, которые читал в тот вечер Николай Рубцов. Но одно из них врезалось в память до конца жизни. Когда он начал читать “Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны, / неведомый сын удивительных вольных племён”, мы словно оцепенели. В Кемерово мне довелось слышать много великолепных стихотворений, но то, что читал Рубцов, было особенным. Каждое слово выстрадано, выверено по мысли, ложилось в строку, словно венец к венцу при строительстве крепкого крестьянского дома. В его стихах звучала музыка, которую, смеясь и плача, играла вся Россия.

Мы засиделись у Иванова до позднего вечера, выпили всю водку, которую Рубцов почему-то называл вином, а когда уходили, художник обнял нас своими огромными ручищами всех троих сразу.

– Завтра уезжаю в Горный Алтай, – сказал, прощаясь с ним, Коля, и мне показалось, что если бы не уже назначенный отъезд, он с удовольствием остался бы и в этой мастерской, и в нашей компании ещё на долгое время. Ему, как никому другому, остро не хватало человеческого тепла, и любое дружеское общение, любое внимание к себе он воспринимал с особым, обострённым чувством. Он был бесконечно одинок, и это сразу бросалось в глаза.

Дождь так и не начался, тучи сползли за город, центральная улица Барнаула была залита огнями фонарей. Навстречу нам попала стайка девчат, которые, непрерывно щёбеча, то и дело над чем-то смеялись. Мы окликнули их, но они, стрельнув озорными глазами, прошли мимо.

– Хорошо у вас, – удовлетворённо вздохнул Коля. Помолчал немного и добавил:

– Может, и в Горном будет не хуже.

Вместе с Мерзликным они проводили меня до моего дома, а на следующий день Рубцов уехал в село Красногорское, расположенное в предгорьях Алтая. В красногорской районной газете ответственным секретарём работал друг Мерзликина Геннадий Володин, тоже, кстати сказать, поэт. У него и остановился Рубцов.

Само село было не очень привлекательным, но окрестности его удивительно красивы, недалеко от райцентра протекает река Бия, берущая начало из Телецкого озера. Её берега обрамляет темнохвойная тайга, а вода в реке настолько прозрачная, что даже на двухметровой глубине видны лежащие на дне камни. Короче говоря, настоящая сибирская глубинка. Там и провёл почти всё лето Николай Рубцов. В Барнаул он вернулся в начале августа. Был он в том же пиджаке, в котором я видел его в мае, но без шарфа. Лицо его по-

темнело от загара, и весь он выглядел окрепшим и посвежевшим. На этот раз Рубцова сопровождал его сокурсник по Литинституту Василий Нечунаев. Рубцов обрадовался мне, как старому знакомому.

Мы сели на скамейку в сквере на центральной улице Барнаула. Я спросил Рубцова, понравилось ли ему на Алтае, удалось ли поработать в эти летние месяцы?

— Кое-что написал, — как-то вяло, без особого энтузиазма ответил Рубцов.

И я понял, что он или не очень доволен тем, что ему удалось сделать за это время, или у него просто нет настроения. А когда я попросил его что-нибудь почитать, он отмахнулся:

— Ну, что, мы будем сидеть на скамейке и читать друг другу стихи?

Рубцов не хотел уезжать в Москву, на Алтае он провёл ещё месяц, общался со многими нашими писателями, художниками, актёрами. Тепло относились к нему и в Горно-Алтайске, куда он за время своего пребывания у нас ездил дважды. Уже после смерти Рубцова я услышал о том, что, напившись, он часто бывал просто нестерпим. Может быть, его доводили до этого? В Барнауле мне не раз приходилось видеть его крепко выпившим, наши поэты, общавшиеся с ним, пили ничуть не меньше, но единственное, что он делал, подвыпив, — брал в руки гитару и начинал не читать, а напевать речитативом свои стихи. И очень жалел, что ни у кого из нас не было гармошки.

В середине сентября, вернувшись с Горного Алтая, он сразу пришёл ко мне и спросил:

— Скажи, Слава, я не могу получить гонорар за стихи, которые ты отдавал в “Алтайскую правду”? Собираюсь ехать в Москву, а денег на дорогу нет.

Рубцов был очень стеснительным человеком. Находясь несколько месяцев на Алтае и остро нуждаясь в деньгах, он так и не смог осмелиться прийти в краевую газету и предложить для печати свои стихи. Во время нашей встречи в августе я попросил его дать мне несколько стихотворений и сказал, что сам предложу их нашему литературному отделу. А те, что не возьмут, передам в газету “Молодёжь Алтая”, которая находится на одном этаже с “Алтайской правдой” и в которой у меня много друзей. Стихи напечатали в обеих газетах. Но время выдачи гонорара ещё не пришло, а деньги Рубцову нужны были немедленно. Я пообещал завтра же выяснить всё и сообщить об этом. Просить за Рубцова пришлось у редактора, всегда сочувственно относившегося к молодым писателям и журналистам, поэтому он сразу же распорядился выдать причитающийся поэту гонорар. На него и купил Николай билет до Москвы.

Провожать Рубцова на вокзал пришли мы с Мерзликиным. На прощание, конечно, выпили. Коля помахал нам с подножки тронувшегося вагона рукой, и мы простились. А на следующий день жена, возвращаясь с работы и открыв дверь, смущённо сказала:

— Впереди меня по лестнице поднимался какой-то парень. Он прошёл на верхний этаж. Мне показалось, что это Рубцов.

Я засмеялся:

— Откуда ему взяться? Мы вчера проводили его с Мерзликиным на поезд. Он сейчас уже в Омске или ещё дальше.

В это время в дверь робко постучали. Жена растерянно посмотрела на меня, я открыл дверь и обомлел. На пороге стоял Рубцов. Он смотрел таким виноватым взглядом, что я, не задав ему ни одного вопроса, сказал:

— Проходи.

Оказалось, что Рубцов смог доехать только до Новоалтайска — первой станции, находящейся в двадцати минутах езды от Барнаула. Устроившись на своём месте в вагоне, он захотел выпить пива. Когда поезд остановился, он вышел из вагона, прошёл в станционный буфет и взял кружку. Пока он пил пиво, поезд ушёл. Как он добирался до Барнаула, где был почти сутки, я не спрашивал. Виноватый, по-детски беззащитный взгляд Коли выдавал его непередаваемую растерянность.

— Иди, умойся, — сказал я ему, кивнув на дверь ванной.

Пока он умывался, жена накрыла на стол.

— Ты понимаешь, прослушал объявление о том, что поезд отправляется из Новоалтайска, — попытался оправдаться Коля, садясь за стол. — Если бы знал, что так будет, никогда бы не стал пить это пиво. Кстати, оно было совсем невкусное.

Мы с женой не стали спрашивать о том, что с ним было дальше, — всё и так было ясно. Я стал лихорадочно соображать, где взять денег на новый билет Рубцову. Ведь пришёл он ко мне именно за этим. Но ничего путного в голову не приходило. Поэтому я перестал мучиться сомнениями, а после того, как мы поужинали, попросил его почитать стихи. Настроение Рубцова улучшилось, он почувствовал себя снова среди друзей, и долго уговаривать его не пришлось. Поэзия была его жизнью, она единственная ни разу не изменила ему, отвечая и верностью, и бесконечной любовью. Он знал ей цену лучше многих других.

Он читал много, как будто знал, что больше уже никогда не вернётся на Алтай. На следующий день я вывернул все свои карманы и кое-как наскрёб двадцать пять рублей. На пятнадцать мы с Колей купили ему билет в общий вагон, десять осталось на дорогу. Как он прожил на них, я не знаю, ведь до Москвы было три дня пути.

— Как только приеду домой, сразу же вышлю тебе долг, — крикнул с подножки вагона Рубцов.

Поезд уже набирал ход, я помахал ему рукой, он ответил мне тем же. Больше мы с ним не встречались.

... Четыре года назад на Шукшинские чтения, ежегодно проходящие на Алтае, приехала большая делегация кемеровских поэтов во главе с моим давним знакомым и другом Борисом Бурмистровым. После выступления в библиотеке родного села Василия Макаровича Шукшина у нас осталось полдня свободного времени, и я предложил поэтам съездить в те места, где провёл всё лето 1966 года Николай Рубцов. Они, конечно же, с радостью согласились...

Мы побывали в селе Красногорском, постояли около двухэтажного дома из красного кирпича, на первом этаже которого жил Рубцов. Нам даже показали окно его бывшей комнаты. Потом съездили к реке Бии, посидели на берегу, где он когда-то таскал на удочку пескарей, повспоминали его стихи. Я смотрел на бегущую у наших ног прозрачную воду, слушал её недовольное бурчание, когда она натыкалась на камни, и вспоминал прощальный взгляд Рубцова, стоящего на подножке уходящего поезда. Он, наверное, знал, что уезжает от нас навсегда. В тот последний вечер он прочитал нам с женой своё стихотворение “Журавли”. Столько лет прошло, а когда по радио или с телеэкрана зазвучит его первая строчка: “Меж болотных стволов красовался восток огнеликий. . .”, у жены сразу влажнеют глаза, а мне начинает казаться, что Рубцов до сих пор машет мне рукой с подножки вагона.